

Толстая некрасивая девчонка ревет, судорожно сжимая руками горло. Лицо – красное от стершейся помады, с черными пятнами от туши. Вместо голоса – хриплое страшное шипение.

– Шире открой рот! Шире! Что ты жмешься?! Ты петь пришла или рыдать? – орет на нее директриса – женщина, которую все ждут, все боятся, все мечтают попасть к ней на прослушивание.

Дверь зала открыта – и мы все видим, как девочка стоит навытяжку и, пытаясь быстро успокоиться по знакомым с детства упражнениям, снова и снова начинает свою арию. И снова и снова срывается.

Директриса гремит:

– Следующий!

Мы стоим в очереди. Девочки, только что окончившие школу, и один парень. У парня бас. Его точно возьмут – парней всегда не хватает. А нас – десять. И всего одно место.

Полчаса назад директриса ходила мимо нас и всех опраивала.

– Покороче не было? – одергивала она подол чье-то мятого заношенного платья, которое едва достает до колен. – Петь надо выходить в концертном, а не в этом рванье.

Смотрела на худые шиколотки, торчащие из-под джинсов, и кроссовки.

– А шорты чего же не надела? Вас кто одеваться учил? Вы из какой деревни приехали? Вы входите в зал! В зал! Вы понимаете это?

Она вскидывала руку вверх так, как будто через эти деревянные разошедшиеся двери мы попадем в Большой театр, а не в маленькую душную комнату с потрескавшимся роялем.

– Следующий!

Медленно, с достоинством, идет высокая девочка в длинном черном платье. Мы прижимаемся к двери. Нас уже восемь, и мы думаем – а вдруг она? Вдруг одно-единственное место достанется этой – красивой, на каблуках, с русыми волосами и густо накрашенными глазами?

– Представьтесь, – говорит директриса.

Она сидит подальше от раскрытого окна, чтобы не продуло, подальше от рояля, чтобы не мешал. Она слушает.

– Лена, – гордо говорит девочка и вскидывает голову.

– Лена... – передразнивает директриса. – И на сцену так же выйдешь – «Лена»... Фамилия, отчество.

– Синицына Елена Николаевна. – Голос уже дрожит.

– Что представлять будете, Елена Николаевна?

– Песню.

Директриса вздыхает. Песню... Нет такого понятия в опере. Ария. Оперетта.

Мы, толкаясь, всматриваемся в щелочку. Лена поет.

Директриса качает ногой. Когда она качает ногой – она недовольна. Это уже все знают – первокурсники доложили. Директриса смотрит в окно и морщится, как от зубной боли. За окном – июнь. Все лето впереди. Вся жизнь. А кажется, что есть только эта минута. И не было ничего до. И не будет после.

Лена поет.

– Спасибо! – Ее прерывают. – Все понятно. Следующий.

– Голос есть, – уже когда Лена вышла, – но... не то, не то. – Директриса вздыхает.

Она тучная, в ярком желтом платье и шелковом шарфе, который она набросила на толстую шею. Шея всегда закрыта. Простужаться нельзя. Голос, хоть уже и не поет давно.

– Как думаете, кого выберут? – галдят в перерыве девочки.

Здесь всегда шумно. Распеваются, разыгрываются, тянут связки, делают упражнения, наигрывают на рояле.

– Говорят, будут спрашивать про известных вокалистов. Давай погуглим.

– Русских?

– Ну, наверное...

– Шаляпин, Вишневская, Архипова...

– А у тебя какой голос?

– Меццо-сопрано? А у тебя?

– Колоратурное...

Колоратурное – редкость. У Марии Каллас было колоратурное сопрано. И Мария Каллас его потеряла. Об этом мы никогда не говорим. Это – запрещенная тема. Об этом – только маме, ночью, чтобы никто не услышал.

– Иди! Иди! Твоя очередь!

Я иду в зал. Встаю напротив нее. Представляюсь. Начинаю петь.

Голос сразу несется вверх. Я распевалась, как и положено, тридцать минут – не больше. Голос бежит, как волна. Я думаю о море, об Италии, про которую сейчас пою. Голос уже далеко отсюда – отражается от раскаленных камней и уносится дальше. Жаркий Рим, фонтаны, вода, Святой Петр, стены, узкие улицы... И вдруг. Голос замирает. Он зацепился. Он не может освободиться и полететь дальше. Он боится, он мечется вокруг себя, запутываясь все больше. Он сорвался.

И уже не голос, а жуткий хрип, который слышно сейчас всему коридору, всей Москве, всему миру, летит вниз и падает, разбиваясь сухим кашлем.

Она качает ногой. Она качает ногой. Я уже не вижу ничего – Италия рухнула вместе с моим предательским голосом. Она качает ногой.

«Пошла отсюда вон», – хочет сказать она.

– Следующий!

Потом мы стоим все той же очередью к ней в кабинет.

Директриса сидит в кожаном кресте, и ее лоб блестит от пота. На столе фотография молодой – на сцене какого-то театра. На стене рыжие афиши двадцатилетней давности.

– Мать есть? – спрашивает она меня.

– Есть.

– А отец?

– Тоже.

– Работает где?

– В фирме своей. Юрист.

Я все вру. Нет у меня никакого отца. Мать одна – регистратор в поликлинике.

– Сто тысяч в семестр потянете?

Я быстро-быстро киваю.

Она протягивает мне договор и квитанцию.

– Отдашь матери на подпись. В сентябре жду.

– Спасибо, – шепчу я судорожно.

– И хватит нить. Ты вокалистка, так что нечего мне тут сопли разводить. Шоколад любишь?

Я мотаю головой.

– Правильно. Забудь. Тебе нельзя. Запомни – тебе теперь ничего нельзя.

Я выхожу на улицу. Только начало июня, и еще все лето впереди.

Мне интересно – а кого возьмут на бесплатное? Кто – эта девочка?

Кабинет директрисы на первом этаже. В открытое окно я вижу ее и какую-то девочку рядом. В белом платье в пол, с высокой прической, взгляд еще детский, но уже гордый. Она совсем не похожа на всех нас. Она не смотрит на директрису, не смотрит в ноты, она не боится, что голос сорвется, она знает, что будет петь и что ее будут слушать. Она закрыла глаза. Голос не дрожит, не мечется по кабинету, не улетает, он плавно висит в воздухе, как облако, над всеми нами, и то опускается, то поднимается, но всегда ровно, как и должно быть. И я понимаю – до нее нам всем еще очень далеко.

Директриса не качает ногой и не кивает одобрительно. Она просто слушает. И я стою и слушаю. И все вокруг замерло и слушает. Ее голос.